

Это чудесный мир, не правда ли? Письма из Петраково

Владимир Мартынов

Владимир Мартынов

**Это чудесный мир, не правда
ли? Письма из Петраково**

«ВЕБКНИГА»

2019

УДК 7.067
ББК 71.0:87.66

Мартынов В. И.

Это чудесный мир, не правда ли? Письма из Петраково /
В. И. Мартынов — «ВЕБКНИГА», 2019

ISBN 978-5-89-817514-6

По словам Владимира Мартынова, поводом к появлению этой книги стало пение зяблика – почти забытое с детства, оно повлекло за собой, подобно вкусу прустовского бисквита, цепь имен и воспоминаний, определяющих взгляд автора на мировую историю, увиденную из неприметной подмосковной деревни под названием Петраково. Обрушение кровли Нотр-Дама, съемки в кинопроекте «Дау», размышления о свойствах средневековых витражей и арт-объектах Уорхола заставляют Мартынова в очередной раз искать исчерпывающее объяснение событиям новейшей истории и поступкам современного человека. В «Письмах из Петраково», завершающих проект «Книга Перемен», автор впервые делится догадкой: как изменится человечество после «конца света» – то есть по завершении большого исторического цикла, на излете которого мы живем.

УДК 7.067
ББК 71.0:87.66

ISBN 978-5-89-817514-6

© Мартынов В. И., 2019
© ВЕБКНИГА, 2019

Содержание

Это чудесный мир, не правда ли?	6
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Владимир Мартынов

Это чудесный мир, не правда ли? Письма из Петраково

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Мартынов В. И., 2019

© Васин А. А., оформление, 2019

© Издательский дом «Классика-XXI», 2019



Это чудесный мир, не правда ли? Письма из Петраково

*Упало Гэ Германиш,
И русских Эр упало.
И вижу Эль в тумане я
Пожара в ночь Купала.*

В. Хлебников

*И пусть мир катится к закату,
Болтом и гайкой скрежеща, —
Крылом чудесным трепеща,
Летун закроет очи кату.*

В. Мартынов

*Опять над Лао-янem
Весенний веет ветер.
И среди тысячи цветов
Почтенный бродит старец.
Цветам он рад, и рад вину,
И опьянел немного.
Что ж о печалях толковать —
Их разве перескажешь?*

Бо Дзюйи

1

Из Москвы до Петраково можно добраться двумя способами. Можно ехать по Минке через Можайск, а можно – по Новой Риге через Шаховскую. Чтобы попасть в само Петраково, и от Можайска, и от Шаховской нужно проехать еще километров пятьдесят до поворота на Семейники, после чего придется протрястись около пяти километров по грунтовой дороге, которая, петляя между полями и перелесками, приводит наконец непосредственно в Петраково – небольшую деревеньку, расположенную на берегу крохотной речушки Иночь, похожей больше на сильно разлившийся ручей. Сразу же за Иночью встает стена леса, и этот лес тянется на многие километры в сторону Твери и Смоленска, ибо, находясь на стыке Московской, Тверской и Смоленской областей, Петраково является, по всей видимости, одним из последних населенных пунктов дальнего Подмосковья, за которым начинаются тверские и смоленские леса и где никаких дорог больше нет. Местных жителей здесь тоже почти не осталось, и, хотя они все же еще есть, население Петраково теперь состоит в основном из москвичей, купивших или построивших здесь дома и приезжающих сюда только летом. Именно такими москвичами, построившими здесь свой дом, стали и мы с Таней, а то, каким образом нас сюда занесло, – это совершенно особая история, начало которой теряется в далеких 80-х годах прошлого века.

В те годы у нас была «Волга» ГАЗ-24, на которой я разъезжал не меньше, чем теперь разъезжает Таня, благо тогда не было ни пробок, ни проблем с парковкой и по Москве можно было ездить и стоять где угодно и сколько угодно. Помню, как-то раз летним воскресеньем я поехал к родителям в Рузу, но, приехав туда, обнаружил, что забыл в Москве партитуру, которой собирался заняться в тот день. Не раздумывая ни минуты, я поехал в Москву за забытой партитурой и тут же снова вернулся в Рузу, потратив на всю эту поездку в три конца чуть более двух с половиной часов. Принимая во внимание теперешнюю катастрофическую загруженность Минского шоссе по воскресеньям, эта история выглядит совершенно неправдоподобно. Впрочем, в Петраково мы с Таней оказались не потому, что тогда можно было свободно ездить где угодно и сколько угодно, а потому, что «Волга» ГАЗ-24 ездила на 76-м бензине, на котором ездили грузовые автомобили и автобусы. Следуя устоявшейся традиции владельцев этого автомобиля, мы с Таней постоянно покупали дешевый ворованный бензин у водителей поливальных машин. Мы занимались этим столь систематически и столь регулярно, что у нас появился постоянный водитель-заправщик, а мы стали его постоянными клиентами. Так в нашу жизнь вошел Игорь Нечаев. Постепенно наши чисто коммерческие отношения начали перерождаться в более близкое общение. Таня познакомилась с женой Игоря Валентиной, мы стали дружить домами и ходить друг к другу в гости.

Как-то раз Игорь сообщил, что у них на работе распределяют земельные участки и он готов помочь получить такой участок где-то в Подмоскovie, в результате чего мы стали бы соседями по даче. Тут нужно отметить, что в те годы почти каждый мог получить небольшой участок абсолютно бесплатно, ибо практически все советские учреждения и предприятия занимались их распределением среди своих служащих и сотрудников. Союз композиторов не был исключением, и по совету Тани я записал на себя участок в окрестностях Снегирей всего в сорока минутах езды от Москвы, так что предложение Игоря легло на подготовленную почву, и теперь настала Танина очередь сделать то же самое. Вообще-то каждое лето мы с Таней проводили в Сортавале и иного не могли себе представить. Тогда у нас даже мысли не возникало, что мы можем обзавестись собственной дачей под Москвой, и участки эти мы записали на себя под влиянием какого-то советского инстинкта, руководствуясь принципом «пусть будет». Композиторский участок мы продали в девяностых, так как поняли, то никогда не захотим там жить и ничего строить там не будем, а вот участок в Петраково заключал в себе что-то притягательное, с чем не хотелось просто так расставаться. К тому же будущее становилось все более и более неопределенным, и в какой-то момент нам показалось, что все же следует обустроить какое-то местечко, куда можно было бы метнуться в случае чего, «если вдруг начнется». Как раз в это время, занимаясь постройкой своего дома, Игорь по-соседски предложил нам свои услуги в качестве прораба-строителя, и мы тут же согласились, благо, кроме известных расходов, от нас не требовалось никаких хлопот. Так стараниями Игоря на нашем участке появился небольшой домик с русской печкой, верандой и мансардой, а также банька, колодец и туалет – словом, все, что нужно для идиллически-буколической жизни. Впрочем, в те годы мы с Таней еще не созрели до такой жизни и рассматривали обустроенный Игорем участок исключительно как некий запасной аэродром на случай непредвиденных, но на тот момент вполне ожидаемых и вероятных событий. Это сильно расстраивало Игоря, ведь мы так и не сделались «нормальными» соседями по даче. Наверное, из-за этого наши отношения стали расхолаживаться, а наши жизненные пути – расходиться, и мы даже не сразу узнали, что Игорь с Валентиной попали в страшную автокатастрофу, в результате которой сам Игорь погиб, а Валентина выжила, оставшись с совершенно обезображенным лицом.

После смерти Игоря у нас в Петраково никого не осталось, и, чтобы поддерживать дом и участок хоть в каком-то жилом состоянии, мы стали предлагать друзьям и знакомым пользоваться нашим домом как дачей. Сначала этим предложением воспользовался наш ближайший друг Володя Стоин, который поселил в Петраково свою жену Юлю вместе с дочерью, а

сам еженедельно ездил к ним, привозя продукты и все необходимое из Москвы. Потом Таня устроила туда одну полубезумную даму из администрации филармонии, замечательную тем, что у нее было около сорока кошек. Этих кошек мы перевозили на специально заказанном автобусе, предварительно загрузив их в мешки из-под цемента. Все это можно было проверить только с помощью нескольких музыкантов из «Академии старинной музыки», которые, выбиваясь из сил, отлавливали разбежавшихся по салону автобуса кошек, в результате чего все кошки были благополучно доставлены в Петраково. Возвращение в Москву осенью уже не было таким удачным, ибо около десяти кошек нам так и не удалось отловить. Они остались зимовать в Петраково, и дальнейшая их судьба неизвестна. После этой полубезумной дамы у нас жил еще кто-то – сейчас я даже не помню кто. А в последние годы у нас поселился друг нашего соседа по двору, теща которого помогала Тане прибираться в квартире на Ходынке. Будучи электриком по профессии и афганцем по жизни, он оказался очень хозяйственным и рукастым. Живя у нас вместе с женой и малолетним сыном, он многое привел в порядок и так пристрастился к нашему месту, что в конце концов предложил его выкупить. Тут мы с Таней поняли, что с Петраково нужно что-то решать. Ведь если мы не собираемся там жить и если там постоянно живет кто-то другой, то зачем нам все это? Не правильнее ли и не честнее ли продать – пусть даже за бесценок – все это хозяйство тем, кто и так живет там и кто хочет продолжать жить там и дальше? Но, как только я подумал об этом, внутри у меня что-то переключилось, и я услышал подобие какого-то далекого шепота. Может быть, это был не шепот, а легкое дуновение. А может быть, это было даже не легкое дуновение, но едва уловимое движение где-то внутри меня. Впрочем, чем бы это ни было – шепотом, легким дуновением или едва уловимым движением, – во всем этом можно было расслышать слова: «Не продавай нас! Мы – твои! Не продавай нас! Мы тебе пригодимся!» И когда я закрывал глаза, то можно было почувствовать, откуда исходили эти слова: от леса, что вставал стеной за нашим участком, от крохотной речушки, больше похожей на разлившийся ручей, от поля, по которому вилась грунтовая дорога, – от всего того, что носит имя Петраково. Это Петраково звало нас. Это был зов Петраково, и, услышав его, мы с Таней поняли, что ни о какой продаже и речи быть не может. Мы отказали афганцу, который тут же купил домик где-то в соседней деревне, а сами остались один на один теперь уже с окончательно нашим домом и нашим участком. Так мы сделали первый осознанный шаг на пути к пребыванию в пространстве Петраково.

2

Но услышать зов – это одно, а начать следовать зову – это совсем другое. Для того чтобы последовать зову Петраково, нам нужно было приложить определенные усилия, ибо и дом, и участок – все это находилось в крайне жалком и запущенном состоянии, и все это нужно было приводить в порядок, если мы действительно хотели жить здесь хотя бы иногда. Я, естественно, не буду описывать хлопот по обустройству Петраково, ибо те, кто проходил через что-то похожее, знают все сами, а для остальных все это будет абсолютно неинтересно. Скажу только, что сначала мы связались с местной бригадой строителей из Можайска, которые на поверку оказались опытными халтурщиками, хорошо знающими, как следует грамотно ошкуривать клиентов, максимально затягивая сроки завершения работы. К счастью, через одного своего давнего знакомого, мозжинского старожилу, Таня вышла на бригаду строителей из Белоруссии, которые, придя на смену можайским шабашникам, в достаточно сжатые сроки завершили расширение дома, оборудовав его всеми необходимыми удобствами: масляным отоплением, водопроводом, канализацией и газовой плитой, а также усовершенствовали электропроводку, отремонтировали печку, реанимировали баню, выстроили небольшой хозяйственный сарай – словом, превратили наследие Игоря во вполне пригодное для обитания пространство, в котором жители города могли бы предаваться радостям сельской жизни, не нарушая своих город-

ских привычек. Рабочие оказались честными и крайне трудолюбивыми людьми, но их усилия никогда не вылились в такой результат, если бы процессом не руководила Таня. Я всегда знал, что у нее есть особая способность к преобразению жизненных пространств, но тут Таня превзошла саму себя. Вникая в мельчайшие детали строительных работ, она по их завершении не менее самозабвенно принялась обихаживать и внутреннее пространство дома, и участок, завязывая тесные контакты с соседями-дачниками, местными жителями, сотрудниками садовых питомников, фермерами из соседних деревень – в общем, превратилась в гения места, аккумулирующего в себе жизненные энергии Петраково.

Всего этого, к сожалению, нельзя было сказать обо мне. Со временем я стал тяготиться тем, что мы поддались зову Петраково. Мне стало жалко времени, сил и денег, которые тратились, быть может, и не в таких больших, но вполне достаточных количествах для того, чтобы вызывать во мне внутренний ропот и брюзжание, которые – увы – я не всегда мог скрывать от Тани. Конечно же, я не мог обнаруживать всего этого в полной мере, но слово «дача» у меня все чаще и чаще начало ассоциироваться со словом «доставка». Я не понимал, зачем нужно ехать куда-то за сто пятьдесят километров, чтобы делать там то же самое, что я делаю в нашей квартире на Малой Грузинской. Но в какой-то момент все внезапно переменялось, и произошло это одним июньским утром. В то утро я проснулся не очень рано и не очень поздно – часов в десять. Меня разбудило птичье пение, и это было не просто птичье пение, но нечто гораздо большее. Пользуясь устоявшимися литературными штампами, можно было бы сказать, что я услышал сладкоголосую птицу юности, которую в то утро следовало бы назвать скорее сладкоголосой птицей моего звенигородского детства. Но если говорить проще и конкретнее, то я услышал пение маленькой неприметной птички, что, обитая почти повсеместно в нашей средней полосе, особенно часто встречается в Подмосковье и известна под именем *Fringilla coelebs*, а в быту зовется просто зябликом из семейства вьюрковых. В отличие от своей ничем не примечательной внешности, эта птичка обладает совершенно удивительными голосовыми способностями. Ее песенка представляет собой продолжительный нисходящий каскад звуковых завитков, завершающийся интонацией повисшего в воздухе вопроса. Все это напоминает скорее не столько песенку, сколько некий звуковой иероглиф, и этот иероглиф как бы парил надо всем, что происходило со мной в Звенигороде. Потом моя жизнь сложилась так, что я почти совсем перестал бывать в Подмосковье и почти совсем забыл о существовании птичьего иероглифа. Конечно же, время от времени мне доводилось гостить на дачах у своих друзей и знакомых, но в условиях бурных деревенских застолий мне было как-то не до птичьего пения. Много позже, навещая своих родителей в Рузе, я как бы мельком слышал пение моей птички, а однажды я услышал ее в нашем глухом дворе на Ходынке, куда майскими ночами залетали иногда даже соловьи. Но и в Рузе, и в ходынском дворе я воспринимал это пение как что-то чуждое и внешнее по отношению к моему «я». Я узнавал его, но при этом оставался абсолютно равнодушным. И вот в то июньское утро в Петраково иероглиф Звенигорода, казалось, зазвучал прямо во мне самом. Впрочем, для того чтобы понять, что же именно произошло со мной в тот момент, наверное, лучше всего вспомнить один отрывок из Пруста, который в свое время я знал почти наизусть и от повторения которого я не могу удержаться снова и снова.

3

«Уже много лет для меня ничего не существовало в Комбре, кроме подмостков и самой драмы моего отхода ко сну, но вот в один из зимних дней, когда я пришел домой, мать, заметив, что я прозяб, предложила мне чаю, хотя обычно я его не пил. Я было отказался, но потом, сам не знаю почему, передумал. Мама велела принести одно из тех круглых, пышных бисквитных пирожных, формой для которых как будто бы служат желобчатые раковины пластинчатожаберных моллюсков. Удрученный мрачным сегодняшним днем и ожиданием безотрадного зав-

трашнего, я машинально поднес ко рту ложечку чая с кусочком бисквита. Но как только чай с размоченными в нем крошками пирожного коснулся моего нёба, я вздрогнул: во мне произошло что-то необыкновенное. На меня внезапно нахлынул беспричинный восторг. Я, как влюбленный, сразу стал равнодушен к превратностям судьбы, к безобидным ее ударам, к радужной быстролетности жизни, я наполнился каким-то драгоценным веществом; вернее, это вещество было не во мне – я сам был этим веществом. Я перестал чувствовать себя человеком посредственным, незаметным, смертным. Откуда ко мне пришла всемогущая эта радость? Я ощущал связь меж нею и вкусом чая с пирожным, но она была бесконечно выше этого удовольствия, она была иного происхождения. Так откуда же она ко мне пришла? Что она означает? Как ее удержать?»¹

Здесь я должен на минуту прервать цитирование Пруста, ибо в момент переписывания этого текста я почувствовал примерно то же самое, что почувствовал Пруст, когда крошки бисквитного пирожного коснулись его нёба. Но если вкус пирожного пробудил в Прусте воспоминания о Комбре, то при переписывании прустовского текста мне вспомнился «Трактат о пользе превратности любви», написанный мною полвека назад и излагающий теорию серой плоскости существования и голубой глубины бытия. Собственно говоря, ситуация, описанная Прустом, может рассматриваться как наглядная иллюстрация этой теории, согласно которой плоскость существования, образованная нашими делами и поступками, как тончайшая пленка, покрывает бездонную глубину бытия. Несмотря на то что плоскость существования находится непосредственно над глубиной бытия, между той и другой нет никаких точек соприкосновения, ибо на плоскости существования действуют грамматические законы, а в глубинах бытия грамматика утрачивает всякую силу. Но порой на плоскости существования может образоваться прорыв, сквозь который, благодаря прекращению действия грамматических законов, становится видна бездонная глубина бытия, порождающая всемогущую радость.

Удрученность мрачным сегодняшним днем и ожидание безотрадности завтрашнего дня образуют плоскость существования, на которой находится Пруст. Кажется, что ложечка чая с кусочком бисквита полностью вписывается в эту плоскость и не нарушает последовательности, подчиняющейся грамматическим законам. Во всяком случае, для стороннего наблюдателя мрачность сегодняшнего дня, безотрадность дня завтрашнего и кусок бисквита с ложечкой чая представляются явлениями одного порядка, образующими грамматическую последовательность событий, расположенных на плоскости существования. Однако для Пруста эта ситуация видится совсем по-другому: вкус бисквитного пирожного выпадает из последовательности, подчиняющейся грамматическим законам, ибо в нем заключена такая всемогущая радость, которая не может быть втиснута в плоскость существования. Эта всемогущая радость настолько всеобъемлюща и настолько всепроникающа, что, несмотря на свою очевидную связь со вкусом бисквита, она не может быть сведена к этому вкусу и не может быть объяснена с помощью плоскостных грамматических законов. Сознание, привязанное к плоскости существования, не может понять, откуда приходит эта радость, что она означает, и – самое главное – оно никогда не догадается о том, как можно удержать эту радость в себе. Именно с этого непонимания начинается путь поиска.

«Я пью еще одну ложку, но она ничего не прибавляет к тому, что мне доставила первая; третья действует чуть-чуть слабее второй. Надо остановиться, сила напитка уже не та. Ясно, что искомая мною истина не в нем, а во мне. Он ее пробудил, но ему самому она неизвестна, он способен лишь без конца повторять ее, все невнятной и невнятной, а я, сознавая свое бессилие истолковать выявление этой истины, хочу, по крайней мере, еще и еще раз обратиться к нему с вопросом, хочу, чтобы действие его не ослабевало, чтобы он немедленно пришел мне на помощь и окончательно все разъяснил».

¹ Перевод Н. Любимова. (Здесь и далее прим. ред.)

Когда происходит окончательное осознание того, что искомая истина всемогущей радости заключается не во вкусе бисквитного пирожного, но где-то в таинственной глубине сознания и что вкус пирожного способен лишь пробуждать эту радость, сознанию не остается ничего иного, как только снова и снова пытаться воспроизводить в себе память о вкусе пирожного в надежде на то, что эта память снова и снова будет воспроизводить радость, испытанную при первом соприкосновении крошек пирожного с нёбом. Но с каждым новым усилием памяти, с каждым новым воспроизведением вкусового воспоминания ощущение радости становится все невнятное и невнятное, и при многократных попытках повтора этого воспоминания ощущение радости может исчезнуть окончательно.

«Я оставляю чашку и обращаюсь к своему разуму. Найти истину должен он. Но как? Тягостная нерешительность сковывает его всякий раз, как он чувствует, что взял верх над самим собой; ведь это же он, искатель, и есть та темная область, в которой ему надлежит искать и где все его снаряжение не принесет ему ни малейшей пользы. Искать? Нет, не только – творить! Он стоит лицом к лицу с чем-то таким, чего еще не существует и что никто, как он, способен осмыслить, а потом озарить».

Но надежда на помощь разума тоже может оказаться напрасной. Действия разума подчиняются грамматическим законам плоскости существования, а соприкосновение со вкусом бисквита, хоть и занимает свое место на этой плоскости между мрачным сегодняшним днем и безотрадным завтрашним, вместе с тем заключает в себе такую всемогущую радость, которая не только прекращает действие грамматических законов, но и упраздняет саму плоскость существования, в результате чего разум становится бессильным и все его снаряжение не может принести ему ни малейшей пользы. Разум должен признать свое поражение. Разум должен преодолеть сам себя, и только тогда ему может открыться то, что еще не существует, и то, что должно его озарить; так начинается путь медитации.

«И я вновь и вновь задаю себе вопрос: что это за непонятное состояние, которому я не могу дать никакого логического объяснения и которое тем не менее до того несомненно, до того блаженно, до того реально, что перед ним всякая иная реальность тускнеет? Я пытаюсь вновь вызвать в себе это состояние. Я мысленно возвращаюсь к тому моменту, когда я пил первую ложечку чая. Я испытываю то же самое состояние, но уже без прежней свежести восприятия. Я требую от разума, чтобы он сделал еще одно усилие и хотя бы на миг удержал ускользающее ощущение. Боясь, как бы ничто не помешало его порыву, я устраняю все преграды, всякие посторонние мысли, я ограждаю мой слух и внимание от звуков, проникающих из соседней комнаты. Когда же разум устает от тщетных усилий, я, напротив, подбиваю его на отвлечения, в которых только что ему отказывал, я разрешаю ему думать о другом, разрешаю набраться сил перед высшим их напряжением. Затем, уже во второй раз, я убираю от него все лишнее, сызнова приближаю к нему еще не выдохшийся вкус первого глотка и чувствую, как что-то во мне вздрагивает, сдвигается с места, хочет вынырнуть, хочет сняться с якоря на большой глубине; я не знаю, что это такое, но оно медленно поднимается; я ощущаю сопротивление и слышу гул преодоленных пространств».

И только когда сознание освобождается от всего постороннего, когда упраздняются все атрибуты плоскости существования, включая звуки, проникающие из соседней комнаты, и когда вниманию удастся сосредоточиться исключительно на вкусе бисквитного пирожного – только тогда в глубине сознания начинается какое-то неясное ответное движение. Теперь остается только прислушиваться к нему в надежде на то, что оно станет яснее и отчетливее. Теперь остается только наблюдать за тем, как, поднимаясь из глубины сознания, это движение обретает формы и краски.

«То, что трепещет внутри меня, – это, конечно, образ, зрительное впечатление: неразрывно связанное со вкусом чая, оно старается, следом за ним, всплыть на поверхность. Но оно бьется слишком глубоко, слишком невнятно; я с трудом различаю неопределенный ответ, в

котором сливается неуловимый вихрь мелькающих передо мной цветов, но я не в состоянии разглядеть форму, попросить ее, как единственно возможного истолкователя, перевести мне свидетельское показание ее современника, ее неразлучного спутника – вкуса, попросить ее пояснить мне, о каком частном случае, о каком из истекших периодов времени идет речь».

Тут я снова должен прервать Пруста, чтобы признаться в том, что изначально собирався воспользоваться его текстом только для того, чтобы на примере эффекта бисквитного пирожного сделать более понятным то, что произошло со мной под воздействием песенки *Fringilla coelebs*, услышанной мной в Петраково, но по мере переписывания прустовского текста я вдруг начал ощущать, что этот текст сам по себе начинает превращаться в нечто подобное вкусу бисквитного пирожного или песенке *Fringilla coelebs*. Безотносительно к своему содержанию и смыслу, а вернее, даже вопреки и тому и другому, он вдруг сам по себе начал генерировать какую-то таинственную энергию, пробуждающую медитативную память. Процесс чтения и переписывания этого текста вдруг представился мне некоей поверхностью, под которой каким-то таинственным образом угадывалась бездонная глубина, и из этой бездонности ко мне начало подниматься что-то, что не имело отношения ни ко вкусу бисквитного пирожного, ни к голосу *Fringilla coelebs*, но обладало своим, неясным и неугадываемым содержанием. Это что-то, пока безымянное, поднимающееся из глубины памяти, уже вот-вот было готово показаться на поверхности, но о том, что происходит в тот момент, когда утраченное время превращается в обретенное, не может сказать никто лучше Пруста, и поэтому мне не остается ничего другого, как только продолжить прерванную цитату.

«И вдруг воспоминание ожило. То был вкус кусочка бисквита, которым в Комбре каждое воскресное утро (по воскресеньям я до начала мессы не выходил из дому) угощала меня, размочив его в чаю или в липовом цвету, тетя Леония, когда я приходил к ней поздороваться. Самый вид бисквита ничего не пробуждал во мне до тех пор, пока я его не попробовал; быть может, оттого, что я потом часто видел это пирожное на полках кондитерских, но не ел, его образ покинул Комбре и слился с более свежими впечатлениями; быть может, оттого, что ни одно из воспоминаний, давным-давно выпавших из памяти, не воскресало, все они рассыпались; формы – в том числе пирожные-раковинки, каждой своей строгой и благочестивой складочкой будившие остро чувственное восприятие, – погибли или, погруженные в сон, утратили способность распространяться, благодаря которой они могли бы достигнуть сознания. Но когда от далекого прошлого ничего уже не осталось, когда живые существа перемерли, а вещи разрушились, только запах и вкус, более хрупкие, но зато более живучие, более невещественные, более стойкие, более надежные, долго еще, подобно душам умерших, напоминают о себе, надеются, ждут, и они, эти еле ощутимые крохотки, среди развалин несут на себе, не сгибаясь, огромное здание воспоминанья».

Вкус бисквита, которым мама угостила Пруста промозглым зимним днем, обернулся вкусом бисквита, который каждое воскресное утро тетя Леония предлагала Прусту во времена его счастливого детства в Комбре. То, что располагалось на плоскости, образованной последовательностью повседневных событий, вдруг оказалось идентичным тому, что таинственно хранилось в бездонной глубине памяти, в результате чего то, что таилось в этой глубине под спудом забвения, вдруг оказалось тем, что находится снаружи, над поверхностью событий. Причем это забытое, хранящееся в глубинах памяти не просто вышло наружу, но вместе с собой оно вывело всю совокупность ассоциирующихся с ним зрительных, слуховых и осязательных образов, то есть вместе с собой оно вывело утраченную реальность, в результате чего утраченная реальность обернулась обретенной реальностью, а плоскость повседневного существования обернулась бездонной глубиной бытия.

Если в случае Пруста виной всему было бисквитное пирожное, по счастливой случайности предложенное ему мамой в один из зимних дней, то в моем случае причина заключалась в самом тексте Пруста, который я решил процитировать в своей книге и соприкосновение с

которым, происходящее прямо сейчас, когда я пишу эти строки, вдруг стало оборачиваться другим соприкосновением с этим текстом, произошедшим около шестидесяти лет тому назад, во времена моего счастливого отрочества на улице Огарева. Соприкосновение, которое располагалось на плоскости докучливой последовательности нынешних событий и фактически являлось одним из них, вдруг оказалось идентичным тому соприкосновению, которое таилось в глубине моей памяти, в результате чего соприкосновение, таящееся в моей памяти, прорвало плоскость текущих событий и стало тем, что находится снаружи, а оказавшись снаружи, оно сделало обозримым все обстоятельства, все мельчайшие детали, которые окружали его и сопровождали ему в те блаженные времена. Я вспомнил все. Я вспомнил все до последней мелочи. И самое главное, я вспомнил того, кто спровоцировал мое соприкосновение с текстом Пруста. И, вспомнив все это, я вдруг понял, к кому могла бы быть обращена эта книга и кому могли бы быть адресованы письма из Петраково, но разговор об этом придется временно отложить, ибо сейчас нужно вновь вернуться к Прусту.

«И как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чаю бисквита, которым меня угощала тетя (хотя я еще не понимал, почему меня так обрадовало это воспоминание, и вынужден был надолго отложить разгадку), в то же мгновение старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тетиной комнаты, пристроился, как декорация, к флигельку окнами в сад, выстроенному за домом для моих родителей (только этот обломок старины и жил до сих пор в моей памяти). А стоило появиться дому – и я уже видел городок, каким он был утром, днем, вечером, в любую погоду, площадь, куда меня водили перед завтраком, улицы, по которым я ходил, далекие прогулки в ясную погоду. И, как в японской игре, когда в фарфоровую чашку с водой опускают похожие один на другой клочки бумаги и эти клочки расправляются в воде, принимают определенные очертания, окрашиваются, обнаруживают каждый свою особенность, становятся цветами, зданиями, осязаемыми и опознаваемыми существами, все цветы в нашем саду и в парке Свана, кувшинки Вивоны, почтенные жители города, их домики, церковь – весь Комбре и его окрестности, – все, что имеет форму и обладает плотностью – город и сады, – выплыло из чашки чаю».

4

Столь обширную цитату я решился привести, во-первых, потому, что этот медитативный текст, мне кажется, можно перечитывать и переписывать бесконечно, а во-вторых, потому, что при попытке описания всего случившегося со мной в то утро в Петраково мне бы не хотелось заново изобретать велосипед. Зачем описывать то, что было описано уже давным-давно, и при том самым наилучшим образом? Ведь под воздействием услышанной мною песенки зяблика в моем сознании произошло практически то же самое, что произошло в сознании Пруста под воздействием вкуса бисквитного пирожного. Так что, не обременяя себя и других лишними описаниями, я ограничусь лишь тем, что квалифицирую произошедшее со мною тем утром как казус Пруста, или, если быть точнее, как эффект бисквитного пирожного Пруста. Однако, несмотря на почти буквальное совпадение исходной ситуации, конечные результаты воздействия этого эффекта на меня и на Пруста оказались в корне отличными друг от друга. В случае Пруста процесс поиска утраченного времени происходил еще в том же самом мире, в котором оно было утрачено, а потому утраченное время еще могло стать обретенным временем, воплотившись в тексте прустовской эпопеи. В моем же случае утраченное время было утрачено в том мире, которого больше нет, и для того, чтобы обрести утраченное время, мне нужно было снова попасть в тот мир, в котором оно было утрачено, в тот мир, которого больше нет и в который невозможно возвратиться. В этом смысле моя ситуация представляется мне гораздо более острой, драматичной и безнадежной, чем ситуация Пруста. Если в случае Пруста вкус бисквитного пирожного всего лишь воскрешал в его сознании зрительные образы воспоминаний,

то в моем случае голос зяблика, выполняющий функцию прустовского пирожного, с какой-то беспощадной наглядностью являл мне тотальную несовместимость воскрешенных им зрительных образов воспоминаний со зрительными образами окружающей меня действительности.

В свое время Пруст задавался вопросом: «Зачем приходиться под эти деревья, если никого уже не осталось из тех, что собирались под их нежными багряными листьями, если пошлость и глупость заменили все пленительное, что эти листья некогда обрамляли?» И на этот вопрос можно было бы ответить следующим образом: «Пусть никого уже не осталось из тех, что собирались под этими деревьями и под их нежными багряными листьями, пусть пошлость и глупость заменили все пленительное, что эти листья некогда обрамляли, но остались еще эти деревья и эти листья, которые могут предоставить приют ожившим воспоминаниям о том, что происходило некогда под их сенью. Они залог того, что утраченное время может обрести прибежище в настоящем». Но что делать, если нет уже ни этих деревьев, ни этих листьев? Что делать, если утраченным оказалось не только время, но и пространство? Что делать, если больше нет такого места, в котором утраченное время могло бы стать обретенным? Что делать, если воспоминания, поднимающиеся из глубины моего сознания, при соприкосновении с образами окружающего меня пространства рассыпаются в прах?

Вот я чувствую, как глубинные воспоминания, несущие в себе образы Звенигорода моего детства, уже готовы прорваться наружу, но от них не остается и следа в тот самый момент, когда, оказавшись в окружающей меня данности, они наталкиваются на пень – на то, что осталось здесь от спиленной липы Чехова, под сенью которой мы играли с Варей, а тетя Зина читала книжку, сидя на чеховской скамейке. Или вот я чувствую, как из глубины моего сознания прорываются наружу воспоминания и образы привольных далей Подмосковья, но и от них не остается и следа, как только они наталкиваются на трехметровые зеленые заборы, перегородившие здесь все вдоль и поперек. Что же касается таящихся во мне воспоминаний о московских улицах, то и они разделяют общую судьбу, ибо, прорвавшись наружу, они тут же вдребезги разбиваются, ударившись о собянинскую плитку. Вообще, Собянину удалось так испохабить Москву, как никакому Лужкову даже и не снилось. Наверное, жить в Москве стало гораздо удобнее, комфортнее и безопаснее, чем раньше, и, скорее всего, это действительно так, но лично для меня Москва перестала быть моей Москвой. Москва превратилась для меня в навеки утраченное пространство, которое никогда уже не станет обретенным. Она превратилась для меня в пространство, в котором уже невозможно жить и в котором можно только существовать. Откровенно говоря, я уже давно смирился со всем этим. Я смирился и с этой собянинской плиткой, превратившей центр Москвы в какую-то мертвецкую, и с этими трехметровыми заборами, перегородившими все Подмосковье, и с этим пнем, бесцеремонно напоминающим мне о конце времени русской литературы. Я не просто смирился со всем этим – я стал относиться к этому как к чему-то само собою разумеющемуся, как к чему-то такому, что всегда было, есть и будет. Я свыкся с миром, в котором утраченное время и утраченное пространство никогда уже не будут обретенны вновь, как свыкся и с мыслью о том, что до конца своих дней мне придется жить именно в таком мире. Но тем утром в Петраково все изменилось, и я проснулся совсем в другом мире – в мире, в котором воскресает все забытое и обретается все утраченное. И это оказалось чем-то более чудесным и удивительным, чем ситуация, описанная Прустом.

Если во времена Пруста одного вкуса бисквитного пирожного было достаточно для того, чтобы джинны воспоминаний оказались на свободе, то в наше время пение даже самой сладкоголосой птицы уже не сможет вызволить этих джинов из плена забвения, если оно не будет услышано в некоем эксклюзивном заветном месте, – таковы неизбежные последствия процесса всеобщей энтропии, партикуляризации и утраты целостности. Если раньше волшебная лампа Аладдина начинала действовать, где бы ты ни находился, стоило лишь чуть-чуть потерять ее, то теперь ты можешь терять эту лампу хоть до потери сознания, и от этого не будет никакого

толка, если при этом ты не будешь находиться в том единственном месте, где она только и может явить себя в качестве волшебной лампы. Теперь недостаточно просто найти и овладеть волшебной лампой – теперь в дополнение к этому необходимо знание заветного места, в котором найденная лампа может обнаружить свои волшебные свойства. Одно должно наложиться на другое, причем знание о том, где находится заветное место, не менее важно, чем обладание самой лампой, ибо без этого знания волшебная лампа превратится в обыкновенную лампу. В лучшем случае она станет антикварным артефактом, а в худшем – просто старой рухлядью, которую не жалко выкинуть на помойку.

Во всем этом есть еще одно важное обстоятельство, заключающееся в том, что ни обладание волшебной лампой, ни знание заветного места, в котором эта лампа вдруг оказывается волшебной, не могут являться результатом сознательных, целенаправленных усилий. Этого бесполезно желать, к этому бесполезно стремиться, ибо это дается само собой, причем тогда, когда этого совсем не ожидаешь. Песенка зяблика не действовала на меня потому, что до поры до времени мне не доводилось услышать ее в заветном месте, а то, что Петраково и есть то самое заветное место, я не мог догадаться потому, что до поры до времени мне не дано было услышать там этой песенки. Но вот пазл сложился, и настал миг волшебства. Как описать все это, чтобы это стало понятным не только мне, но и другим? Это можно сравнить с финалом фильма «8½», когда занавес открывается и с уже ставшей ненужной грандиозной бутафорской конструкции начинают спускаться все, кого знал Гвидо Ансельми, и все, кто окружает его сейчас. Именно так через открытое окно в нашу петраковскую спальню вдруг начали спускаться все, кого я знал по Звенигороду: мои родители, тетя Зина, тетя Груша, Алексей Иванович Машистов, Виктор Михайлович Беляев, Евгений Владимирович Шмидт, Сергей Николаевич Уткин, Клавдия Ивановна, Наталья Осиповна, все, кого я отчетливо вижу, но чьи имена я сейчас уж не могу вспомнить, и все мои сверстники, с которыми мы проводили летние месяцы в Звенигороде, – всех не перечислишь. И если раньше я только слышал зов Петраково, то теперь до меня начал доходить смысл этого зова, заключающийся в открывшейся мне возможности обретения утраченного времени, которое могло быть обретено только здесь – в Петраково. Кажется, что все это очень похоже на описанное Прустом, но именно тут заканчиваются все аналогии с ним и начинается что-то совсем другое.

Петраково – это не просто заветное место, это одно из последних пристанищ для таких людей, как мы с Таней. Это одно из последних пристанищ вайшьев в мире шудр. Именно тем утром в Петраково я четко впервые осознал, что мы живем в мире шудр – в мире утраченного времени и утраченного пространства, которые никогда уже не станут обретенными. В какой-то момент мне подумалось, что Петраково – это даже не совсем место, это портал, через который каким-то чудесным образом можно проникнуть из мира шудр в мир вайшьев, но тут же понял, что это не совсем так, ибо портал – это всего лишь проход из одного пространства в другое, это нечто такое, что лишено собственной пространственности и собственной субстанциональности, а Петраково – это именно место, это именно пространство, наполненное совершенно особой субстанцией. Быть может, все это больше всего напоминает финал фильма «Солярис», в котором главный герой заглядывает через окно внутрь родительского дома и видит там отца. Но, когда камера начинает медленно подниматься и отъезжать, то все: и дом, и вышедший на крыльцо отец, и небольшой садик, прилегающий к дому, – все это оказывается расположенным на совсем небольшом клочке суши, окруженном водой. И чем выше поднимается камера, тем очевиднее становится, что этот клочок суши является крохотным островком, затерявшимся в бескрайних просторах волнующегося океана. И я начинаю ощущать себя находящимся на этом крохотном островке, и я уже даже знаю, что Петраково и есть этот самый островок, на котором я сейчас нахожусь, который затерялся в бескрайних просторах океана шудр и который является последним прибежищем вайшьев. Это знание выплывает ко мне из звучащей за окном птичьей песенки подобно тому, как образы Комбре выплыли к Прусту из чашки чаю.

5

Уже больше часа горит собор Парижской Богоматери – одно из самых известных зданий в мире. О пожаре стало известно в 19:50 по Москве.

6

С тем, что упоминания о системе древнеиндийских каст и частые ссылки на нее могут восприниматься далеко не всегда однозначно, я столкнулся, когда давал знакомым читать рукопись своей предыдущей книги «Безмолвие как бы на полчаса». Именно тогда с некоторым удивлением я столкнулся с мнением, что использование понятий брахман, кшатрий, вайшья или шудра является сейчас чем-то не совсем уместным и даже чем-то компрометирующим. В наиболее мягкой форме подобные упреки сводились к тому, что любая апелляция к системе индийских каст выглядит сейчас претенциозно, высокопарно и попросту безвкусно. Более ожесточенные формы этих упреков интерпретировали любую попытку осмысления действительности с помощью апелляции к системе индийских каст как попытку утопить современные реалии в архаических категориях добра и зла, которые уже давно были разоблачены Ницше как остаточные следы отношений власти. И наконец, в самой жесткой форме эти упреки превращались в приговор, обвиняющий в латентном расизме каждого, кто так или иначе пытается ссылаться на систему каст.

Мне кажется, я хорошо понимаю мотивы этих упреков и даже могу согласиться с тем, что озвучивание их в наши дни абсолютно закономерно и неизбежно. Но в то же самое время я просто не могу не замечать их внутренней ангажированности, обусловленной их привязанностью к идеалам открытого общества. Я вовсе не собираюсь подвергать сомнению идеалы открытого общества, но вместе с тем не могу согласиться и с бесконтрольной экстраполяцией идеалов социальной открытости на понимание истории, в результате чего история превращается в нечто открытое для нашего понимания на всем своем протяжении, в чем неоднократно пытались убедить меня мои оппоненты. В подтверждение своей правоты они ссылались на пятиклассницу с белыми бантами, которая бойко тараторит доказательство теоремы Пифагора, и на первый взгляд это казалось достаточно убедительным. Действительно, то, что во времена Пифагора являлось результатом титанических интеллектуальных усилий и было доступно лишь единицам, представляя собой некое эзотерическое знание, теперь может не задумываясь прощепетать почти каждая пятиклашка в виде задорной песенки: «Пифагоровы штаны во все стороны равны». И когда уже казалось, что не остается ничего другого, как только согласиться со всем этим, каждый раз мне на память приходила надпись, расположенная, по преданию, при входе в Академию Платона и гласящая: «Не геометр да не войдет». Ведь если геометрия – это не просто доказательство той или иной геометрической теоремы, но врата, через которые только и можно войти в пространство премудрости Платона, то какое отношение к этому имеет пятиклассница с белыми бантами и о чем она столь задорно щебечет?

Для того чтобы понять это, крайне полезно припомнить слова Хайдеггера из «Письма о гуманизме»: «“Этика” впервые появляется, рядом с “логикой” и “физикой”, в школе Платона. Эти дисциплины возникают в эпоху, позволившую мысли превратиться в “философию”, философии – в науку, а науке – в дело школы и школьного обучения. Проходя через так понятую философию, восходит наука, уходит мысль. Мыслители ранее той эпохи не знают ни какой-то отдельной “логики”, ни какой-то отдельной “этики” или “физики”. Тем не менее их мысль и не алогична, и не безнравственна. А “фюсис” продумывается ими с такой глубиной и широтой, каких позднейшая “физика” никогда уже не сумела достичь. Трагедии Софокла, если вообще подобное сравнение допустимо, с большей близостью к истокам хранят “этос” в своем поэ-

тическом слове, чем лекции Аристотеля по “этике”. Одно изречение Гераклита, состоящее только из трех слов, говорит нечто настолько простое, что из него непосредственно выходит на свет существо этоса»². Из этих слов можно сделать вывод, что геометрия, утратив живую внутреннюю связь с философией, превратилась в «дело школы и школьного обучения», а став «школьной геометрией», она уже больше не в состоянии обеспечить через себя связь сознания с простой всеобъемлющей мыслью Пифагора. Геометрия сделалась всего лишь пустой оберточной бумажкой, в которую эта мысль была некогда завернута.

Тут в самый раз вспомнить о Гершковиче³, который, сравнивая великую музыку Баха, Моцарта и Бетховена с плиткой шоколада, утверждал, что хотя современные музыканты и думают, что едят этот шоколад, но на самом деле они всего лишь жуют оберточную бумажку от него. Не то же ли самое происходит и с поднаторевшей в геометрии пятиклассницей и со всеми теми, кто полагает, что все происходящее в истории открыто их пониманию и только ожидает того момента, когда оно наконец начнет быть понимаемым ими?

В этой связи мне снова вспоминается картина Де Кирико «Меланхолия и тайна улицы», о которой я много уже писал в книге «2013 год»: на ней изображена девочка с обручем, бегущая по залитой солнечным светом улице мимо темных арок к тени загадочной статуи. Тогда я высказал несколько предположений о том, кем может быть эта девочка и к чьей статуе она бежит. И вот теперь я могу предложить увидеть в этой девочке поднаторевшую в геометрии пятиклассницу, бегущую к статуе Пифагора. Интерес этого предложения заключается в том, что последовательность арок, мимо которых пробегает девочка, может быть представлена как последовательность этапов накопления знаний в истории. Подчиняясь законам перспективы, арки уменьшаются в размере по мере удаления в глубину картины, к статуе Пифагора, и, естественно, увеличиваются по мере приближения к поверхности картины и к бегущей девочке. Это вполне соответствует нашим представлениям о процессе накопления знаний, объем которых увеличивается по мере продвижения истории. И здесь возникает некоторая коварная мысль, связанная с тем, что увеличение размеров арок по мере их приближения к поверхности картины, также как их уменьшение по мере удаления их к линии горизонта есть всего лишь иллюзия: на самом деле все арки обладают одной и той же величиной – в этом легко убедиться, поравнявшись с каждой из них в реальном перемещении по пространству. Но что это значит? Значит ли это, что увеличение количества знаний есть лишь иллюзия, рожденная перспективой нашего исторического времени и нашего исторического подхода? Наверное, это не совсем так. Скорее всего, все дело заключается здесь в разнице между объемом и массой знания.

История человечества подобна истории Вселенной. По сути дела, история – это та же расширяющаяся Вселенная, в которой объем знания увеличивается, а его масса остается той же. В ходе исторического развития изначально целостное и единое знание распадается на все большее и большее количество частных, дробных знаний. Этот процесс партикуляризации, в результате которого происходит сегментирование знания, и создает иллюзию увеличения знания «как такового», в то время как на самом деле увеличивается только его объем. Увеличение объема знания делает знание более разреженным и общедоступным, что приводит к уменьшению его интенсивности, и это позволяет говорить о том, что интенсивность знания обратно пропорциональна его объему. История накопления знаний распадается на ряд исторических периодов, в каждом из которых объем знания увеличивается, а его интенсивность уменьшается, из-за чего интенсивность знания, присущая ранним периодам истории, становится практически невоспроизводимой в более поздние эпохи, несмотря на то что по видимости знание становится все более общедоступным. Если на минуту представить, что интенсивность знания – это шоколадка, а его общедоступность – оберточная бумажка, то придется признать, что

² Перевод В. Бибикина.

³ Гершкович Филипп Моисеевич (1906–1989) – композитор, музыковед и педагог.

Пифагор – это тот, кто ест шоколадку, а пятиклассница с белыми бантами есть та, кто жует бумажку, в которую была завернута шоколадка. И вообще, открытость исторических событий для нашего понимания оказывается чистой иллюзией, и происходит это потому, что история не подчиняется принципам открытого общества. В ней нет никаких социальных лифтов и законов, обеспечивающих наличие равных возможностей для всех. В ней доминируют кастовые законы, обеспечивающие закрытость и непроницаемость каждому отдельно взятому историческому периоду, перекрывая доступ к его пониманию любому представителю другой исторической эпохи, который попытается применить к нему свои способности познания. История – это не шахта социального лифта, из которого можно выйти на любом этаже. История – это шахта элитного лифта, из которого можно выйти только на каком-то определенном этаже, а о других этажах приходится судить только по цифрам на табло, указывающим, где находится лифт в данный момент. Конечно же, такое положение вещей не может устраивать сознание, воспитанное на идеалах открытого общества, и поэтому оно начинает искать обходные пути. Не будучи в состоянии проникнуть своим пониманием в каждый конкретный период истории, такое сознание будет компенсировать эту неспособность путем выстраивания исторических периодов в единую последовательность, основанную на какой-либо доступной этому сознанию концепции.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.